

Максим Горький Карамора

Вы знаете: я способен на подвиг. Ну, и вот также подлость, — порой так и тянет кому-нибудь какую-нибудь пакость сделать, — самому близкому.

Слова рабочего Захара Михайлова, провокатора, сказанные им следственной комиссии в 1917 г. «Былое», 1922, кн. 6-я, статья Н. Осиповского.

Иногда — ни с того ни с сего — приходят мысли плохие и подлые...

Н.И. Пирогов.

Позвольте подлость сделать!

Один из героев Островского.

Подлость требует иногда столь же самоотречения, как и подвиг героизма.

Из письма Л. Андреева.

По обдуманым поступкам не узнаешь, каков есть человек, его выдают поступки необдуманные.

Н. С. Лесков в письме к Пыляеву.

У русского человека мозги набекрень.

И. С. Тургенев.

Отец мой был слесарь. Большой такой, добрый, очень веселый. В каждом человеке он прежде всего искал, над чем бы посмеяться. Меня он любил и прозвал Караморой, он всем давал прозвища. Есть такой крупный комар, похожий на паука, в просторечии его зовут — карамора. Я был мальчишка длинноногий, худощавый; любил ловить птиц. В играх был удачлив, в драках — ловок.

Дали мне они три дести бумаги: пиши, как всё это случилось. А зачем я буду писать? Всё равно: они меня убьют.

Вот — дождь идет. Действительно — идет: полосы, столбы воды двигаются над полем в город, и ничего не видно сквозь мокрый бредень. За окном — гром, шум, тюрьма притихла, трясется, дождь и ветер толкают ее, кажется, что старая эта тюрьма скользит по взмыленной земле, съезжает под уклон туда, на город. И я, сам в себе, как рыба в бредне.

Темно. Что я буду писать? Жили во мне два человека, и один к другому не притерся. Вот и всё.

А может быть, это не так. Все-таки писать я не буду. Не хочу. Да и не умею. И — темно писать. Лучше полежим, Карамора, покурим, подумаем.

Пускай убивают.

Всю ночь не спал. Душно. После дождя солнце так припекло землю, что в окно камеры дует с поля влажным жаром, точно из бани. В небе

серпиком торчит четвертинка луны, похожая на рыжие усы Попова.

Всю ночь вспоминал жизнь мою. Что еще делать? Как в щель смотрел, а за щелью — зеркало, и в нем отражено, застыло пережитое мною.

Вспомнил Леопольда, первого наставника моего. Маленький голодный еврейчик, гимназист. Мне было в то время девятнадцать лет, а он года на два или на три моложе меня. Чахоточный, в близоруких очках, рожица желтая, нос кривой и докрасна затек от тяжелых очков. Показался он мне смешным и трусливым, как мышонок.

Тем более удивительно было видеть, как храбро и ловко он срывает покровы лжи, как грызет внешние связи людей, обнажая горчайшую правду бесчисленных обманов человека человеком.

Был он из тех, которые рождаются мудрыми стариками, и был неукротимо яростен в обличении социальной лжи. Даже дрожал от злости, оголяя пред нами жизнь, — точно ограбленный поймал вора и обыскивает его.

Мне, веселому парню, неприятно было слушать его злую речь. Я был доволен жизнью, не завистлив, не жаден, зарабатывал хорошо, путь свой я видел светлым ручьем. И вдруг чувствую: замутил еврейчик мою воду. Обидно было: я, здоровый русский парень, а вот эдакий ничтожный

чужой мальчишка оказывается умнее меня; учит, раздражает, словно соль втирая в кожу мне.

Сказать против я ничего не умел, да и было ясно: Леопольд говорит правду. А сказать что-нибудь очень хотелось. Но ведь как скажешь: «Всё это — правда, только мне ее не нужно. Своя есть»?

Теперь понимаю: скажи я так, и вся моя жизнь пошла бы иным путем. Ошибся, не сказал. Пожалуй, именно потому не решился выговорить свои слова, что уж очень неприятно было: сидят четверо парней, на подбор молодцы, а глупее хворенького галчонка.

Торговля нашего города почти вся была в руках евреев, и поэтому их весьма не любили. Конечно, и я не имел причин относиться к ним лучше, чем все. Когда Леопольд ушел, я стал высмеивать товарищей: нашли учителя! Но Зотов, скорняк, который завел всю эту машину, озлился на меня, да и другие — тоже. Они уже не первый раз слушали Леопольда и довольно плотно притерлись к нему.

Подумав, я тоже решил поступить в обработку пропагандиста, но поставил себе цель сконфузить Леопольда, как-нибудь унизить его в глазах товарищей; это уже не только потому, что он еврей, а потому что трудно было мне помириться с тем, что правда живет и горит в таком хилом, маленьком

теле. Тут, конечно, не эстетика, а, так сказать, органическая подозрительность здорового человека, который боится заразы.

На этой игре я и запутался, на этом и проиграл себя. Уже после двух, трех бесед правда социализма стала мне так близка, так ясна, как будто я сам создал ее. Теперь я думаю, что тут запуталась одна ядовитая и тонкая штучка, которую я — сгоряча и по молодости моей — не заметил. Доказано, что по закону естества разума мысль рождается фактами. Разумом я принял социалистическую мысль как правду, но факты, из которых родилась эта мысль, не возмущали моего чувства, а факт неравенства людей был для меня естественным, законным. Я видел себя лучше Леопольда, умнее моих товарищей; еще мальчишкой я привык командовать, легко заставлял подчиняться мне, и вообще у меня не было чего-то необходимого социалисту — любви к людям, что ли? Не знаю — чего. Проще говоря: социализм был не по росту мне, не то — узок, не то — широк. Я много видел таких социалистов, для которых социализм — чужое дело. Они похожи на счетные машинки, им всё равно, какие цифры складывать, итог всегда верен, а души в нем нет, одна голая арифметика.

Под «душой» я понимаю мысль, возвышенную до безумия, так сказать, —

верующую мысль, которая навсегда и неразрывно связана с волей. Суть моей жизни, должно быть, в том, что такой «души» у меня не было, а я этого не понимал.

Я был бойчее товарищей, лучше их разбирался в брошюрках, чаще, чем они, ставил Леопольду разные вопросы. Неприязнь к нему очень помогала мне; стараясь уличить его в том, что он не всё или не так знает, я стремился как можно скорее узнать больше, чем он. Соревнование с ним настолько быстро двигало меня вперед, что скоро я уже был первым в кружке и видел, что Леопольд гордится мною, как созданием разума своего.

Он, пожалуй, даже любил меня.

— Вы, Петр, настоящий, глубочайший революционер, — говорил он мне.

Удивительно начитанный и великий умник был он. Постоянно у него насморк, всегда кашлял, сухой, черненький, точно головня, курится едким дымом, стреляет искрами острых слов. Зотов говорил:

— Не живет, а — тлеет. Так и ждешь: вот-вот вспыхнет и — нет его!

Я слушал Леопольда с жадностью, с величайшим увлечением, но — обижал его. Например — спрашиваю:

— Вы всё говорите о европейских капиталистах, а вот о еврейских как будто и забыли?

Он, бедняга, сжался весь, замигал острыми глазенками и сказал, что хотя капитализм интернационален, но для евреев гораздо более, чем капиталисты, характерны и знаменательны враги капитализма — Лассаль, Маркс.

Потом он, с глазу на глаз, упрекал меня в склонности к юдофобству, но я отвел упреки, сказав, что его умолчание о евреях замечено не только мною, а всеми товарищами. Это была правда.

На восьмом месяце занятий с нами он был арестован вместе с другими интеллигентами, с год сидел в тюрьме, потом его сослали на север, и там он умер.

Это один из тех людей, которые живут, как слепые, вытирашив глаза, но — ничего не видят, кроме того, во что верят. Эдаким — легко жить. С таким зарядом я бы прожил не хуже их.

Привели в тюрьму солдата, — удивительно похож на отца в год его смерти: такой же лысый, бородатый, так же глубоко, в темные ямы, провалились глаза, и посмеивается виновато, как смеялся отец мой перед смертью.

— Петруха! — спрашивал он меня. — А ну, как умрешь — черти встретят?

Он умирать не хотел даже до смешного; лечился сразу у троих: у знаменитого доктора Туркина, у какой-то знахарки в слободе, ходил к попу, который от всех болезней пользовал настоем эфедры — «кузьмичовой травы». Боялся отец и за меня. Говорит, бывало:

— Бросил бы ты, Петр, забаву эту! В том, что люди плохо живут, не твоя вина, — почему же твоя обязанность налаживать чужую жизнь? Это всё равно как если б ты чужих гусей пас, а своих без призора оставил.

В грубых мыслях правды больше. Конечно — люди посажены на цепь экономики. Экономический материализм — учение ясное и никаких выдумок не допускает. Связь между людьми — дело внешнее, механическое, насильственное. Пока мне выгодно — я терплю эту связь, а невыгодно — открываю свою лавочку: прощайте, товарищи! Я — не жаден, немного мне надо на мой срок жизни.

Среди товарищей есть эдакие поэты, лирики, что ли, проповедники любви к людям. Это очень хорошие, наивные парни, я любовался ими, но понимал, что их любовь к людям — выдумка, и — плохая. Понятно, что для тех, кто, не имея определенного места в жизни, висит в воздухе, для тех проповедь любви к людям практически необходима; это очень хорошо доказано наивным учением Христа. По существу дела — забота о

людях исходит не из любви к ним, а из необходимости окружить себя ими, чтоб с их помощью, их силою, утвердить свою идею, позицию, свое честолюбие. Я знаю, что интеллигенты в юности действительно ощущают физическое тяготение к народу и думают, что это — любовь. Но это не любовь, а — механика, притяжение к массе. В зрелом возрасте эти же поэты становятся скучнейшими ремесленниками, кочегарами. Забота о людях уничтожает «любовь» к ним, обнаруживая простейшую социальную механику.

В городе, ночами, постреливают. Сегодня, на рассвете, в камере надо мною кто-то выл, стонал, топал ногами. Кажется — женщина.

Утром приходил от них товарищ Басов, спрашивал: пишу ли я? Пишу.

Он снова, как на первом допросе моем, ужаснулся, разводил руками, бормотал:

— Поверить невозможно, что это — вы, старый партиец, организатор восстания, один из самых энергичных работников наших.

Неприятная у него манера говорить; слова будто жует, а они у него прилипают к зубам, и языку трудно отодрать их. Он вообще неуклюжий, неловкий человек и — кочегар. По неловкости своей часто сидел в тюрьмах. Скучный мужчина. Лицо у него — лицо безвинно наказанного, на всю

жизнь обиженного. Среди интеллигентов много встречается с такими вывесками страдания и обиды на рожах. Особенно обильно разродились они после 905 года. Ходили по земле так, как будто мир человеческий должен им полтора рубля и — не платит.

Они, видимо, думают, что смерть испугает меня и я, несчастный злодей, растекусь покаянием, как водосточная труба в дождливый день. Чудаки.

Да, я пишу. Не для того пишу, чтоб вытянуть несколько лишних дней жизни в тюрьме, а — по желанию третьего. Живут во мне, говорю, два человека, и один к другому не притерся, но есть еще и третий. Он следит за этими двумя, за распрей их и — не то раздувает, разжигает вражду, не то — честно хочет понять: откуда вражда, почему?

Это он и заставляет меня писать. Может быть, он и есть подлинный я, кому хочется понять всё или хоть что-нибудь. А может быть, третий-то — самый злой враг мой? Это уж похоже на догадку четвертого.

В каждом человеке живут двое: один хочет знать только себя, а другого тянет к людям. Но во мне, я думаю, живет человека четыре, и все не в ладу друг с другом, у всех разные мысли. Что бы ни подумал один — другой возражает ему, а третий спрашивает: «Это вы зачем же спорите? И что будет из вашего спора?»

Есть, пожалуй, еще и четвертый, этот спрятался еще глубже третьего и — молчит, присматривает зверем, до времени тихим. Может быть, он и на всю мою жизнь останется тих и нем, спрятался и равнодушно наблюдает путаницу.

Я думаю, что еще в юности, когда слагается человек, он, волею своей, должен задушить в себе зародыши всех личностей, кроме одной, самой лучшей.

А вдруг он именно ее и задушит, лучшую? Ведь — черт ее знает, которая лучшая-то!

Интеллигентам — легче, у них школа вытраивает лишние зародыши, злую икру, а нашему брату, когда в нем проснется неукротимая жажда всё знать, всё попробовать, всё испытать, — нашему брату очень трудно!

В двадцать лет я чувствовал себя не человеком, а сворой собак, которые рвутся и бегут во все стороны, по всем следам, стремясь всё обнюхать, переловить всех зайцев, удовлетворить все желания, а желаниям — счета нет.

Разум не подсказывал мне, что хорошо, что дурно. Это как будто вообще не его дело. Он у меня любопытен, как мальчишка, и, видимо, равнодушен к добру и злу, а «постыдно» ли такое равнодушие — этого я не знаю. Именно этого-то я и не знаю.

Здесь уместно вспомнить смешные слова Таси: «Когда человек очень умен, так это даже неприлично».

Значит: пишу я по желанию третьего. Пишу не для них, а для себя и потому, что мне скучно. А рассказывать жизнь свою самому себе очень интересно. Смотришь на себя, как на чужого, и забавно ловить мысли свои на попытках соврать, спрятать что-нибудь от четвертого, ускользнуть от его слезки за тобою. Такая игра стоит не только свеч, а целого костра. После нее остается только пепел? Ну что ж...

Едва ли они увидят и прочитают эти записки, я успею истребить бумагу или пересуну ее в другие руки, чужим людям.

Вот рядом со мною воры сидят, трое, веселый народ. Старший у них — почти мальчишка, лет двадцати, не больше, ученик мореходных классов. Хорошо поет частушки, особенно — одну:

Я отчаянным родился
И отчаянным помру,
Если голову мне сломят —
Я полено привяжу.

Удалой парень. В его возрасте я таким же был. Любил опасность, как товарищ Тася — шоколад.